

## ЮРИЙ КРОЛЬ

### «ПРИПЛЮСОВАЛИ МЕНЯ!»

Когда в феврале 1993 года я читал в Большом доме следственное дело моего отца Льва Соломоновича Гальперина, то впервые наткнулся на фамилию Рождественский. Мне она ни о чем не говорила — распространенная священническая фамилия, и все. Но одним она отличалась от фамилий других допрошенных по делу отца. За этими фамилиями следовали показания свидетелей. А тут и фамилия и показания только упоминались. На очной ставке с художницей В. М. Ермолаевой 26 февраля 1935 года мой отец признал: «Я подтверждаю все показания Ермолаевой, Юдина и Рождественского как о моих антисоветских политических убеждениях, так и о моей антисоветской деятельности». А 13 марта в проекте постановления (подготавливающего приговор «тройки») уполномоченный 4-го отделения Секретно-политического отдела НКВД ЛО Тарновский написал: «Допросами обвиняемого Гальперина Л. С. и свидетелей — Рождественского, Юдина, Ермолаевой — установлено, что он вел антисоветскую агитацию среди художников Ленинграда». В деле есть показания художников Ермолаевой и Л. А. Юдина против отца, но показаний Рождественского там нет, и все же на них сослались и сам отец, и его следователь. Мне показалось странным и даже подозрительным, что в деле из всех допрошенных отсутствуют показания только одного Рождественского. Я даже спросил следователя, который знакомил меня с отцовским делом, о Рождественском: «А его показаний почему нет?» Тот пожал плечами: «Может, в отдельное дело выделили...»

Было ясно, что в следственном деле, выданном мне для ознакомления, собран не весь материал об отце. Нет там и доноса, по которому оно было возбуждено. Почему? Что такого в показаниях Рождественского и доносе на отца, что мне не дают их прочесть? Константин Иванович Рождественский, как и те, чьи показания есть в деле, как и мой отец, был художником. Даже очень известным художником. Притом единственным, о ком искусствовед, к которому я приступил с расспросами о незнакомых мне фамилиях, сказал: «Жив и работает в Москве». Значит, если его показания и выделили в отдельное дело, боком это ему не вышло. А еще один художник — мой при-

---

Юрий Львович Кроть (род. в 1931 г.) — историк Востока, китаист, доктор исторических наук. Работает в Институте восточных рукописей РАН. Автор ряда книг и статей. В их числе «Сьма Цянь — историк» (М., 1970), комментированный перевод с китайского: Хуань Куань «Спор о соли и железе» (М., 2001). Живет в С.-Петербурге.

атель, которому я рассказал эту историю, — посоветовал: «Да встретьтесь вы с ним, спросите его прямо, что он тогда говорил». И постепенно я стал привыкать к дикой, в общем-то, мысли о встрече со «свидетелем обвинения» почти шестидесятилетней давности.

Встреча эта и в самом деле произошла, но только почти через полгода. Это случилось 9 сентября, в мастерской Рождественского, на девятом этаже большого серого дома у Киевского вокзала в Москве. Едва я его увидел, в памяти всплыло прозвище Малютка, которым его называл в своих дневниках Юдин, — Рождественский оказался детинной здоровенного роста, хотя годы уже изрядно согнули его. Он провел меня в мастерскую, предложил сесть, а сам сел напротив, готовый отвечать на мои вопросы о художниках первой половины 1930-х годов. Он говорил свободно, как бы перебирая в памяти предложенные ему темы, перескакивал с одной на другую, возвращался то к той, то к этой, а я насколько мог подробно записывал его слова. Беседа наша была довольно бессвязной и сбивчивой.

Сперва я показал ему небольшое изображение двух женщин, одной постарше, другой помладше, написанное отцом на красном фоне, и спросил, не знает ли он их. В ответ я услышал вопрос: «Кто это? Наталья?» — «Кая?» — «Да Наталья Андреевна!» (потом мне объяснили, что, может, он имел в виду Н. А. Манченко, последнюю жену К. С. Малевича). Я со своей стороны поинтересовался: «А это не Вера Михайловна Ермолаева с ученицей?» Ответ был отрицательный: «Нет, это не Ермолаева с Казанской. У Марии Казанской не было подбородка. И это не Вера Михайловна, та была русской дворянской красавицей, строго одевалась, таких кофт не носила, следила за собой... Мученица. Не роптала... Упала как-то в Гинхуке, охнула. Я ее поднимал... Светская женщина». И добавил: «Иронически относилась к художницам, к женщинам в искусстве». Тогда я показал ему фотографию отца, уже немолодого, снятого рядом с каким-то юношей, и спросил, не знает ли он, кто это. Рождественский как будто силился узнать: «Что-то знакомое. Кто это?» Я отвечал: «Это Лев Соломонович Гальперин». Рождественский заметил: «Я его мало знал. Он приходил, приносил большие папки, показывал Вере Михайловне, слушал ее, как будто ученик. Он часто упоминался в нашей среде — Юдин, Суетин, Чашник... Кого-то <лицо на фотографии> мне напоминает — это кто-то из Русского музея — Нерадовский? Пунин? Это интеллигентное лицо, а Гальперин производил богемистское впечатление. <По-моему, это лицо> связывается с кругом Русского музея». Я показал ему фотографию отца в более молодом возрасте. Сперва Рождественский сказал, что не знает, кто это, но потом изменил мнение: «Очень знакомое лицо», — и, сравнивая фотографию с предыдущей, отметил сходство: «Конструкции лица похожи, ухо тоже».

Он рассказал мне, что «помнит одну-две (позже он сказал: две-три) встречи с моим отцом, что тот производил впечатление «одинокое, неприкаянное» человека «вроде бомжа»; что он «делал большие рисунки, приносил Ермолаевой рисунки в большой папке; клал их слева направо, горизонтальные композиции, черно-белые, фигуры плоские».

Затем мысли его приобрели новое направление, и он стал рассказывать мне о том, как был вызван к оперуполномоченному А. Федорову, начальнику 4-го отделения Секретно-политического отдела НКВД ЛО, для участия в очной ставке: «Казанская была арестована, потом вышла, сказала мне, что Федоров просит меня прийти к нему тогда-то. Я ходил в НКВД, там <у меня> была очная ставка со Стерлиговым. Потом ее (М. Казанскую. — Ю. К.) опять арестовали. Федоров вел Малевича, его арестовали, потом освободили». По словам Рождественского, когда он вспомнил Малевича при Федорове, тот сказал: «Не будем этого старика трогать, и даже в разговоре не упоминайте».

После этого Рождественский вернулся к моему отцу: «Гальперин не был в нашей группе», пояснив, что имеет в виду тех художников, которые ходили к Малевичу и показывали ему свои работы. «Он приходил к Вере Михайловне Ермолаевой и приносил большие листы, не беспредметные, а сюжетные: плоские фигуры, в брюках, в рабочем костюме, какие-то толпы, группы». Затем сказал, что из арестованных художников видел только Стерлигова. «Тот вел дневники, их забрали при аресте. А я много спорил со Стерлиговым. Я тогда стоял на марксистских позициях — немного увлекался. У Стерлигова <в дневнике> была фраза: „Рождество якшается с марксизмом“, потому меня и не посадили».

Я рассказал Рождественскому о своем разговоре с художником П. И. Басмановым, назвавшим следствие над ленинградскими художниками в конце 1934 — начале 1935 года, когда он и сам оказался арестованным свидетелем по делу Стерлигова, «репетицией», «премьерой»: тогда «все было мягче, чем потом, совсем по-другому. Насилий никаких. Были угрозы: поставлю к стенке. Но никто не жаловался, даже приходившие из одиночек... Допросы были строгие... Но за упорство не было экзекуций». Рождественский заинтересовался этим рассказом и вспомнил: «Стерлигов говорил мне, что его сажали в отдельную камеру, без света, это была камера смертников».

Затем Рождественский опять перешел к моему отцу и другим художникам: «Гальперин больше занимался графикой, а этим интересовался Юдин, он и знал Гальперина лучше других». Разглядывая портрет двух женщин, который я показал ему, заметил: «Чувствуется, что художник делал. Живописная вещь. Надо устроить выставку его работ». Но о себе сказал, что у него ни работ Гальперина, ни его фотографий нет. «Гальперин как художник был „не моего романа“, и я представлял его себе как стопроцентного графика. Живописные работы Гальперина на выставке 1932 года „Художники РСФСР за 15 лет“ мне не запали». Мысль его скользнула к работам Казанской: «Казанская после ареста Ермолаевой перешла ко мне, показывала мне работы. Она, Кондратьев и я ездили на Кавказ. Года не помню — может быть, 1933 год? Нет, тогда я был в Луге. С датами у меня за последние годы стало хуже... Она <Казанская> оставила мне пять работ, считая их (или: их все считали? — Ю. К.) ученическими, а они оказались высокого класса, их взяла Третьяковская. Казанская была очень талантливый человек». Затем Рождественский коснулся собственных отношений с сотрудниками НКВД: «Они вели себя <со мной> деликатно. У меня осталось впечатление, что Стерлигов во время очной ставки потихоньку от Федорова приложил палец к губам — мол, молчите. Я сказал Стерлигову, что был у жены его Лиды и позвоню ей после очной ставки. Федоров не одергивал». К этому Рождественский добавил, что «смысла своего вызова в НКВД он не понял; <должно быть,> следователь хотел его вызовом успокоить среди художников...».

Затем Рождественский вдруг вспомнил арест Д. И. Хармса и А. И. Введенского: «Они должны были ехать в Москву, их взяли двое в вагоне (якобы <чтобы> перевести на другое место), они вышли из вагона, а их арестовали». О себе он рассказал, что до 1941 года жил в Ленинграде, а в 1938 году в связи с подготовкой парижской выставки жил в Москве. В 1934 году уезжал в Сибирь.

Мысли его опять вернулись к его очной ставке со Стерлиговым, устроенной Федоровым. Я вспомнил слова, написанные Стерлиговым о Рождественском в своих воспоминаниях о художниках в 1970 году: «Константин Николаевич (sic!) Рождественский — ныне главный художник Советского Союза по выставкам. К нему уже не придешь так просто, как ко мне: завтракает он в Брюсселе, обедает в Калькутте, а ужинает в Токио, и лишь спит

в Москве» («Новый журнал». Кн. 154, 1984. С. 164). Я пересказал их своему собеседнику, который лаконично ответил: «Надо же было на что-то жить». И опять заговорил о моем отце: «С Гальпериным я впервые встретился в большой комнате у Ермолаевой, <где горела лампа> под абажуром. Потом появился Юдин. Хорошая была, сосредоточенная обстановка. Гальперин спокойно листал свои папки, перекладывал <рисунки>, Ермолаева ему что-то говорила. Запомнился только этот вечер». По словам Рождественского, «вопросов о Гальперине ему не задавали, видимо, знали, что они мало встречались и что он (Рождественский) о нем не знает. Юдин знал Гальперина, наверное, лучше других...» И добавил о Юдине: «Бессмыслица... Он погиб в первом же бою». Под теми, кто не задавал вопросов о Гальперине, он явно имел в виду следователей.

О художнике Фиксе, дававшем показания против моего отца, Рождественский сказал, что эта фамилия ему ничего не говорит. Он рассказал мне также, что «с Ермолаевой общался много с 1923 по 1928 (sic!) в Гинхуке, <где были> регулярные занятия. После закрытия Гинхука стало сложнее встречаться. Ермолаева и Юдин приезжали к нему на Крестовский остров, пили чай. Казанскую в 1934 году взяли и не выпустили...» Рождественский продолжал: «Не знаю, знал ли Малевич Гальперина. Он ценил Юдина и Суетина, очень иронически относился к Стерлигову, говоря о его работах: литературщина, дилетантское философствование, Стерлигов и сам <это> чувствовал, но был напористый... Звездой был сам Малевич, это грандиозная фигура.

У Ермолаевой в прихожей был сундук с чужими работами: Ле Дантю, Чекрыгина; может быть, там были и работы Гальперина. Где этот сундук?»

Внимание Рождественского снова на миг переключилось на М. Казанскую, точнее на Казанских: «Семья Казанских была высокообразованная, отец — литературный критик, друзья — Тынянов, Эйхенбаум». Быть может, нахлынули воспоминания о 1930-х годах, но вдруг у него вырвалось: «Кошмар! Страшные ночи. Звонки в двери, <да что> звонки — стук! Когда мы с Суетиным делали нью-йоркскую выставку, то отказывались, так как всех, кто делал парижскую выставку, посадили, и комиссара тоже.

Я спросил его, умный ли человек был оперуполномоченный Федоров. В ответ услышал: «Не только интеллигентный человек, но и красивый. Я Юдину говорил: „Наша-то Вера Михайловна на себя наговаривает перед красивым мужиком (чтобы обратить на себя внимание. — Ю. К.)“. Иногда она говорила, что меньшевичка, брат ее был, кажется, меньшевик. Интеллигентная, демократическая среда, не диктатура пролетариата... Меня о Ермолаевой не спрашивали, да и о Стерлигове — надо было только подтвердить его слова, что он критически высказывался о строе, говорил о безжалостности сотрудников НКВД, о том, что на деле были бытовые разговоры. А <это> были обывательские разговоры, но тогда я сказал, что могло быть... Стерлигов был неосторожен и особенно прямо и резко писал в дневниках. После войны я его спросил: „Зачем глупости писал?“ <А> он: „Не мог молчать!“ После войны я давал Стерлигову деньги, — <только,> пожалуйста, не пишите этого!.. Я вышел от Федорова, ощущая себя чистым».

Моя беседа с Рождественским длилась около двух часов. В конце я сказал: «Есть еще один, последний вопрос, да не знаю, как о таком в лоб спросить человека. Может быть, не стоит?» — «Давайте спрашивайте», — ответил он. И я сказал: «Как сын Гальперина я читал его следственное дело. И там в двух документах рядом с фамилиями других, изобличивших его в антисоветских взглядах, речах и делах, стоит и ваша фамилия. А вы мне об этом не рассказали. Вы говорите, что почти не знали моего отца, видели его два-три раза. Получается противоречие. Если не знали, как могли о нем говорить, давать показания против него?»

Рождественский умолк и молчал долго (мне казалось — несколько минут, но, верно, все-таки меньше). Наконец он сказал: «Не мог я... Стерлигов иногда читал мне свои дневники, и там было антисоветское... У меня в памяти не осталось, что спрашивали о Гальперине». Я поинтересовался: «Если вы его не знали, как вы могли о нем говорить? Может, был еще один Рождественский, дававший показания по этому делу?» Тот признал, что другого Рождественского не было, и произнес что-то невразумительное. Я продолжал: «Я хочу знать, это мой отец, вот я и пришел к вам со своим недоумением». Тут он слегка потрепал меня по плечу и промолвил: «Я понимаю, понимаю. И спасибо вам, что вы мне это прямо сказали...» Я повторил ему свой рассказ о следственных материалах, которые я читал, о показаниях Ермолаевой и Юдина. Он спросил: «И они? И Вера Михайловна и Юдин?» — «Да, я читал протоколы очных ставок моего отца с обоими, они изобличали его». И тогда он вкрадчивым, выпрашивающим голосом осведомился: «А как насчет меня? Я-то что там говорю?» Я ответил как есть: «Протокола очной ставки с вами или ваших показаний в деле нет. На эти показания там есть только две ссылки, из которых видно, что вы обвиняли моего отца в антисоветчине. А что написано пером, того не вырубишь топором».

Через какое-то время он вдруг «нашел формулу»: «Приплюсовали меня!» — и повторил ее несколько раз. Я не заметил ни признаков гнева или возмущения, ни малейших изменений в его лице. Помню его слова: «Вы не думайте, что я перед вами оправдываюсь». А еще по ходу разговора он поинтересовался, подробно ли велся протокол очной ставки отца с Юдиным. Я ответил: «Записана суть».

После этого Рождественский, говоря медленно, с паузами и вполне в мирном духе, еще раз подытожил пункты, на которых настаивает: что виделся с Федоровым только один раз по поводу Стерлигова, не помнит, чтобы его спрашивали о Льве Соломоновиче Гальперине, и повторил формулу «приплюсовали меня». Резюмировал свое мнение и я: «Как это было, знает Бог. Вы там были, знаете о том, что произошло, как современник и очевидец, и уверяете меня, что со Львом Соломоновичем Гальпериным были почти не знакомы. Я же читал протоколы очных ставок, текст постановления и знаю то, что написано пером. Я сохраняю в душе свой вопрос и сомнение, а вы отрицаете, что давали показания против Льва Соломоновича Гальперина. На том и кончим. Спасибо, что вы потратили на меня много времени, что многое мне рассказали. Извините, что утомил вас. Выпрощайте меня!» Рождественский: «Ну зачем же выпрощивать!» Я: «Корень этого слова — провозжать». Рождественский все время уверял, что не устал... Уже по дороге к дверям я ему сказал, что в протокол вписать что-нибудь невозможно, что я должен либо вообще не верить протоколам, либо принять их как они есть («приплюсовать» значит «добавить», а что можно «приплюсовать» к рукописи или машинописи — ведь в обоих случаях что-то добавить к тексту можно, лишь сделав вставку, а этого незаметно не сделаешь; между тем ни в рукописном протоколе очной ставки 26 февраля, ни в машинописи следователя от 13 марта никаких вставок нет, в их нынешнем виде они как бы «заверены»: рукопись — подписями Ермолаевой и Гальперина, машинопись — подписью Федорова). Рождественский как бы и не спорил с этим, но твердил: «Приплюсовали меня!» У дверей (я уже стоял на площадке перед мастерской и вызвал лифт) он опять спросил, будет ли выставка (я ответил утвердительно), большой ли у меня материал (я кратко описал его) и попросил: «Дайте знать!» Я сказал: «Да, конечно». За руку не прощаемся (да и не здоровались), движения не делает ни один, а вежливо обмениваемся прощальными фразами. Он закрывает дверь. Тут же вспоминаю, что забыл зонт. Стучу, забираю зонт и ухожу.

Через несколько лет я убедился, что Рождественский не забыл о моем посещении. Воспоминание о нем вложено в уста литературного персонажа Б. Б. — одно из имен, под которым в «Романе со странностями» Семена Ласкина выведен этот художник. Б. Б. с ужасом смотрит на автора, когда тот спрашивает его о Гальперине, и говорит: «Я его совсем не знал. Однажды видел. Я пришел к Вере Михайловне, они смотрели живопись. Да!.. Недавно сюда приходил его сын, он разговаривал... с недоверием. Разве мы можем отвечать за прошлое только потому, что мы его пережили?» (С. Ласкин. Роман со странностями. СПб., 1998. С. 153).

Прошло больше десяти лет. Волею случая в моих руках оказалась копия того самого текста, чье загадочное отсутствие в деле отца вызвало когда-то мои подозрения. В отличие от меня, сына репрессированного, которого по правилам, действовавшим в 1993 году, ознакомили лишь со следственным делом, историку искусства Антонине Николаевне Заинчковской, на излете XX века собравшей обширный материал для исследования жизни и творчества В. М. Ермолаевой, были доступны и другие досье архива. Я глубоко благодарен ей, обратившей внимание на протокол допроса К. И. Рождественского 22 февраля 1935 года и сделавшей его копию, за то, что она поделилась со мной своей находкой.

Это показания свидетеля Рождественского Константина Ивановича, данные допросившему его А. Федорову (частично текст опубликован как показания агента 2577 в уже упомянутой книге Семена Ласкина, с. 188—190, 306). Текст настолько ясен, что не нуждается в комментариях. Сохраняю орфографию и синтаксис писавшего.

*Вопрос.* Расскажите что Вам известно об антисоветской группировки вокруг худ. В. М. Ермолаевой.

*Ответ.* Вокруг худ. В. М. Ермолаевой, группировались худ. Гальперин, худ. Стерлиг<ов> Казанская, Коган Н. О. В то-же время, вокруг Стерлигова группировались молодые художники — Басманов, Олег Карташев и Ал-др Батулин.

В. М. Ермолаеву знаю в течении ряда ле<т> работал с ней одно время совместно. Неоднократно, в беседах со мной она высказывала свои антисоветские настроения, критикуя мероприятия парт<ии> и Сов. власти. Наиболее резко и часто, Ермо<лаева> говорила против коллективизации дерев<ни> указывая, что, насильственные метод<ы> проводимые по ее словам, при коллективизации деревни привели страну к обнищанию. В одной из бесед, года полтора тому назад Ермо<лаева> в подтверждени<е> своих антисоветск<их> оценок мероприятий партии в дерев<не> рассказывала мне о вымирании целы<х> деревень на Украине, как результат по ее словам коллективизации.

По остальным вопросам советской действительности Ермолаева высказывала аналогичное свое мнение. В частности она выступала против судебных процессов над вредителями и контр-революционерами, указывая что в этих процессах многое раздуто.

В области искусства Ермолаева считала что всякая попытка включить советскую действительность в искусство приведет к его гибели, так-как будет выпячиваться предметно-сюжетная сторона и потеряет<с>я культура живописи.

Свои антисоветские настроения Ермолаева выразила в серии контр-революционных рисунков — иллюстраций к Рейнеке-лис, где она дала обобщающую отрицательную оценку окружающей ее действительности.

Гальперин Лев Соломонович, знаю его меньше чем Ермолаеву, но это совершенно явно и глубоко вырожденный антисоветский элемент. Припоминаю следующее его выступление на одном из совещаний художников рабо-

тающих над стабильными учебниками ЛОУЧГИЗа: Гальперин на этом совещании выступил с заявлением, что стремления включить в учебный рисунок показательные элементы наряду с художественными, обречены в наших условиях на гибель и нужно делать схематические рисунки, исключая из них всякие элементы художественности. Сам факт такого выступления имел в себе желание дискредитировать идею качественно-художественного оформления учебника и подорвать желание и энтузиазм молодых художников в создании действительно высококачественного учебника для школ.

Гальперин всегда сопоставлял искусство Запада с нашим советским искусством указывая что на Западе живописная культура стоит высоко и нам надо ей подражать и учиться у нее, а не идти теми путями которыми пошло советское искусство — агитационность, преобладание политического момента в картинах моменты реализма у нас подменены фотографичностью. Гальперин всегда сожалел что он уехал из-за границы.

Стерлигов Вл. Вас. По своим политическим убеждениям националист, антисемит. Ярко вырожденная антисоветская фигура. Основное в его мировоззрении — противопоставление старой русской национальной культуры — элементам советской действительности и Западу.

Из разговоров характеризующих Стерлигова как антисемита припоминаю следующий — года полтора тому назад, Стерлигов указал мне что гос. аппарат засорен евреями, которые свои отрицательные национальные качества проявляют там так-же как и везде.

Записано с моих слов  
верно и мною прочитано: Крожественский  
вписано «элементами» верно. Крожественский

Допросил АФедоров

Каждая из четырех рукописных страниц показаний подписана «Крожественский». На предпоследней строке предпоследнего абзаца записывавший показания Федоров вставил сверху «птичкой» слово «элементам», а Крожественский специально расписался в том, что «вписано „элементами“ (sic!) верно». Тогда он наверняка знал, что незаметно «приплюсовать» что-нибудь к протоколу допроса невозможно. А потом, видно, забыл...